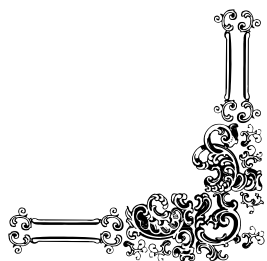
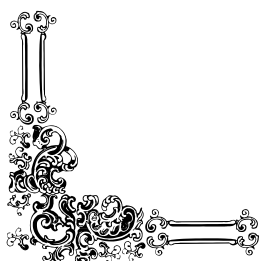


**ПРОЛОГ:
СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ
(ПРИТЧА О СИЗИФЕ)**



Сизиф, царь-труженик, вечный раб, духовный отец конвейера, жив и вечен, как вечен труд — удел и украшение человека. Поэтому вспомнить о нем не грешно лишний раз. Только покойник от воспоминания все переворачивается в гробу, а живому созданию любая память лестна. Сизиф — великий надомник древности и сегодняшнего дня.

Из раннего, тяжелой синевы рассвета выступили горы. В ближних деревнях заблеяли овцы, закричали голодные с ночи ослы. Волы, жирные, тупые и бесстрастные, глухо замычали. Не успела смолкнуть невеселая гармония нищих горных поселений, как подскочило и выпрыгнуло солнце: Гелиос начал дневной путь в своей золотой, слепящей смертным глаза колеснице, разгоняя первыми, длинными еще и косыми лучами утреннюю рябь моря, вызеления поросшие лесом до самых вершин, до облаков прибрежные горы.

Выползали из хижин пастухи, замерзшие, кутающиеся в рваные плащи, мало что соображающие от быстрого, неприятного до тошноты пробуждения. Позевывая, расчесывая под тряпьем искушенные клопами тела, то один, то другой выгоняли они из-за загорода скотину. С хриплой руганью, щелканьем бичей, лаем собак погнали они стада на обезлесенные предгорные поляны.

Архий, в этих местах старейший из пастухов, по привычке семидесяти лет пастырской жизни взглянул на дальнюю, до половины одетую облаком гору: все было как прежде. По тропинке, взбегавшей ввысь под облака, медленно-медленно вползала в гору серая, неразличимая отсюда фигурка человека.

— Боги-боги... тяжко ваше наказание. И умереть-то нельзя, — пробормотал старик, вздохнул и, отхлебнув из поясного меха глоток другой тимьяновой болтушки-кикеона, с криком погнал своих овец.

На гору же взбирался несчастный царь Коринфа, злонаказанный богами Сизиф, не сумевший в лучшие свои времена удержать язык за зубами — порок, бичуемый равно в рабах и в царях.

Не первое тысячелетие вкатывал несчастнейший без отдыха, без злобы, понятно — и без особой радости, огромный камень на вершину горы и столько же раз достигал ее, сколько с проклятьями сбегал вниз, вслед за камнем, вновь и вновь сбрасываемым мстительными богами Олимпа.

Все же злоба на миг схватывала Сизифа, как холод пролитой на грудь декабрьской студеной воды, но привычка отверженного, привычка многих столетий кривила губы в усмешке презрения: к миру, к себе, к своему бессмысленному труду.

До песчинки, до малейшей трещины знакомы были Сизифу очертания проклятого камня, до ювелирной тонкости блеска отполированного его ладонями. Но очередной рассвет заставлял наказанного царя за каторжной работой; начинался день, и он, наваливаясь всем телом на камень так, что бугры мускулов растягивали кожу, как мякоть переспелого плода раздирает тонкую и нежную оболочку, вкатывал его в гору. И пот, обильный пот пропитывал, смешиваясь с утренней росой, тропу скорбного труда без смысла и конца.

Шли и проходили мимо памяти сотни, потом — тысячи лет, но ни разу мольба Сизифа не достигла Олимпа, не смогла умиловить оскорбленных богов.

Время шло, и события в мире текли сквозь время, как через редкое сито мелкий песок. Давно забыли полуодичавшие греки, пастухи здешних гор, богов-олимпийцев, приняли из Палестины нового единосущего бога, быть может, более доброго, а может, и слишком сурового. Но по-прежнему проклятие подгоняло и цепко сдержало в невидимой упряжи бывшего царя Коринфа.

А мимо в пыли раскаленных дорог проходили, сверкая золотыми победными значками, римские легионы — в Египет, Иудею, Дакию, и центурионы из грамотных всадников указывали на Сизифа, разъясняя солдатам: кто этот грек и за что наказан. Солдаты паскудно гоготали. После были гунны, потом и османские турки с восточным безразличием смотрели на крохотную точку, карабкающуюся в гору изо дня в день, год за годом, десятилетиями, веками.

Рассмотрел Сизифа в подзорную трубу адмирал Ушаков, проходивший с эскадрой. Слышал о нем от горцев умирающий Байрон. Личность его давно стала расхожей в островах и ораторских сравнениях. В благородном же искусстве хроник, жизнеописаний и отвлеченных сочинений Сизиф поминался непрестанно, и чем дальше уходило время богов, тем чаще и пристальнее разгадывали душу и суть Сизифова труда: от краткого упоминания Апполодором, современником олимпийцев, до специальных исследований, пред-

принятых рядом знаменитых и беспокойных сочинителей 20-го века из французов и англичан.

Как песок через сито утекали события, оставляя голое прошлое время и тягостный, проклятый труд Сизифа.

Но случилось нечто: в один из несчетных дней в эту дикую местность пробрались три автомобиля. Номерные знаки их были написаны не греческими, а латинскими буквами. Джипы, приминая колесами осоку, подкатили по ложбине, поросшей густой травой, к горе. Вышли люди в хаки и с любопытством осмотрели гору, сверяясь с картой подробного масштаба. Уже когда они собрались уезжать, рассевшись по машинам, с горы сорвался большой гладкий валун, прогремел по склону и раскатился по траве до самой стоянки машин. Не успели пришельцы сообразить: камнепад это или провокация, как вслед за камнем сбежал с горы по протоптанной тропе дикого вида, заросший от век до кадыка бородой, оборванный грек в древнем хитоне, истлевшем от тысячелетней носки. Увидев джипы, людей в хаки, он остолбенел:

— Теосос (боги)! — только и вымолвил Сизиф.

— Здорово, парень! — по-английски, а затем на ломаном греческом обратились они к дикарю. Но тот молчал, с ужасом, почтением и с загоревшейся надеждой-любовью глядя на них. Они же пожали плечами, переглянулись, рассмеялись, сели в машины и уехали, оставив Сизифу пару жестянок с пивом и пачку жвачки: амулеты прощения, как понял Сизиф.

Это были не ленивые османы, проморгавшие свои европейские райи, не одиночка Байрон или стесненный инструкциями адмирал Ушаков. Уже со следующей недели у подножия горы начала скапливаться техника. Ходили и покрикивали люди в комбинезонах и кепи с длинными козырьками, как коровы, жующие бесконечную жвачку. А затем экскаваторы, бульдозеры и самоходные буровые установки полезли в гору. На пологую вершину садились и разгружались тяжелые транспортные вертолеты.

Поначалу Сизиф не мешал строительству: вкатывал и вкатывал понапрасну свой камень, чем немало веселил строителей, не имевших в горах других развлечений, но однажды булыжник коринфского царя чуть не раздавил десятника геодезистов Малкольма, и тот,

взбешенный, приказал отогнать умалишенного грека подальше. Так и сделали. Когда Сизифа везли, как кота в мешке, в зашторенном лендровере — чтобы не запомнил дорогу назад — в сторону Коринфа, он плакал и благодарил богов за освобождение.

В предместье его высадили, а сердобольный конвоир, член Аламедского общества трезвости, шт. Калифорния, которому понравилось поведение Сизифа, отказавшегося от предложенного глотка виски и пива, всунул в его ладонь пять серебряных монет с вычеканенными орлами, очень похожими на голубей.

В городе его тоже сочли за тихого идиота, и приказчик магазина готового платья, куда по вывеске догадался зайти застеснявшийся своей оборванной одежды Сизиф, ловко выудил подаренные доллары, обменяв их по курсу на полторы сотни драхм, хотя рыночная цена была в несколько раз выше. И почти все бумажные драхмы он забрал у бедного царя в уплату за разнокалиберное бросовое тряпье.

Несчастный три дня бродил по городу, привыкая к новому звучанию греческой речи и ночуя на теплых, нагретых днем кладбищенских плитах, пока не проел оставшиеся деньжонки. Его, голодного, обросшего, дикого с виду, подобрал фальшивомонетчик Пироксолус и привел к себе в подвал, в мастерскую. На днях его компаньона отправили в случайной встрече с конкурентами на другой берег Стикса, и хитроумный Пироксолус измыслил взять дармового и неопасного в его тревожной профессии работника — объявившегося в городе юродивого, мужика с виду крепкого телосложения и молчаливого.

Он быстро научил Сизифа обращаться с машиной: заправлять бумагу и краски, прижимать и отжимать рычаги, сушить и искусственно старить ассигнации. Трудолюбивому царю не привыкать было к монотонной работе: ни днем, ни ночью он не оставлял печатный станок, неизменно приводя в восторг и хорошее расположение духа хозяина Пироксолуса.

А тот весь день отсутствовал: массу времени отнимала реализация фальшивых драхм. Приходил только под вечер, проверял работу и вновь уходил, на этот раз в ночной клуб. Но однажды Сизиф не дождался хозяина: ни вечером, ни на другой день, ни

через неделю Пироксолус не заходил в подвал. Бедняга, он, наверное, отправился вслед за бывшим своим компаньоном, а скорее всего — в бессрочную каторгу. Сизиф вновь был один, пришлось ему изредка выходить из подземелья в город за пищей.

Навалились иные хлопоты, вскоре иссяк запас бумаги и красок, но великое чувство овладело к тому времени душою бывшего коринфского царя: напечатать как можно больше бумажных драхм и снова, купив на них город (Сизиф знал от Пироксолуса о нынешней силе денег), стать царем Коринфа, а может, если соблаговолят к нему боги — и всей Элады.

Сизиф, поборов стеснительность и нелюдимость, накопленные за тысячелетия одиночества в горах, начал, кроме еды, приносить в подвал рулоны хрусткой сетчатой бумаги и банки с красками, купленные на черном портовом рынке у дельцов из Афин и Пирея.

...И печатал, печатал без усталости радужные стодрахмовые бумажки, аккуратно перевязывая в десятитысячные пачки, последние же складывая в рогожные мешки. Тысячелетиями приобретенное трудолюбие, неутомимость — все чудесно утроилось в Сизифе.

Чтобы не ходить часто в город, вызывая подозрение и оставляя станок без работы, Сизиф закупил, расплатившись по-жульнически фальшивками, оптом десять тонн бумаги и шесть восьмидесятигалонных бочек краски, подогнал к подвалу два трайлера с австралийской тушенкой и армейскими галетами. Теперь он мог работать без перерыва.

Как некогда потянулись годы... Сколько-то прошло времени, но запас материалов был переработан, консервы и галеты съедены, а в огромном, как конюшня Авгия, подвале оставался свободным от денежных мешков лишь узенький закуток, в котором с трудом помещался Сизиф и износившийся патентованный станок, купленный в свое время Пироксолусом у вождя африканского племени, пытавшегося наладить выпуск собственной валюты, стабильной и независимой, как гордый нумидийский лев...

В некий день, отмеченный впоследствии пересудами на городском рынке, Сизиф закончил свой труд, впервые в его жизни — вольный и целенаправленный. Для пробы он взял один мешок и выволок на улицу, тщательно заперев за собою подвал. Прота-

щившись по городу с мешком на спине, вошел в операционный зал Коммерческого банка и высыпал перед изумленным кассиром груды в два миллиона драхм. Грязный и оборванный бродяга стоял перед кассой...

— Что ты... э-э, что вы? — воскликнул кассир. — Это ведь уже не деньги!

И кассир, увидев горе, отчаяние и непонимание на лице заросшего, нечесаного сельского простака, а может, и взбесившегося миллионера, вежливо, как только и разговаривают с больными, объяснил, что еще три года назад была проведена реформа обмена денежных знаков: в целях борьбы с инфляцией и фальшивомонетчиками, расплотившимися на земле великого Перикла и А. Ф. Македонского...

Сизиф до темноты просидел на ступеньках стилизованной под акропольскую банковской лестницы. Рядом, как сдохшая собака, скрючился рогожный мешок.

«Значит, то были... Проклятье мне!.. По-прежнему...» — горестно шевелились губы царя. Отчаяние и тупость мысли вновь обволокли его душу. Сизиф не знал, конечно, о Наполеоне, но даже и сознание, что не он один проигрывал в истории свое Ватерлоо, не утешило бы его. А он в нем не нуждался... К ночи Сизиф ушел из Коринфа, даже не заглянув в набитый отмененными деньгами подвал.

С месяц бродил он по Акрокоринфским горам и отыскал небольшую, свободную от военных баз и легочных санаториев гору. Выкопал из земли мшистый обломок скалы, похожий на прежний, а с утра, тяжело вздохнув, напряг мышцы тела и со стоном, с проклятиями покатила камень в гору.

Он почувствовал... освобождение; теперь и уже навсегда были выброшены из памяти недавние годы возродившегося древнего тщеславия царя Коринфа. Перерожденный вечным наказанием дух Сизифа отринул, пройдя весь путь ниспосланного богами соблазна, все желания избежать назначенной судьбы. Снова насмешка тронула его губы, не стало над ним повелителя: сторукого человеческого порока бунта.



(Рисунок Л. Смирновой)